

• Е. Златков

ЗАПИСКИ СУМАСБРОДА

ИЛИ

КОРАБЛЪ ДУРАКОВ

- Прощайте, прощайте!- закричали дети и громко заплакали. Пассажиры, держась за корабельные поручни, махали платками и что-то несвязное кричали детям, а те все ревели на желтом песчаном пляже и терли щек грязными кулачками. На меня никто не обращает внимания, слышится: "До свидания!" "Прощайте голуби!" "Береги кошку!" А один толстяк даже: "Вернусь- уши надеру!"- а сам весь красный от волнения, ишь- пузан!- ведь знает, что никогда он не вернется, а туда же! Ну, не бессмысленно ли это? Не неприятно ль? И какой он противный, пухлый, как воздухом надутый! Так бы и двинул ему по морде!..

Я пришел на корабль за пять минут до отхода, и еще не успел здесь как следует осмотреться. Мне, безусловно, понравилось само судно- все белое, оно сверкает мелкими надраенными индикаторами, и большой корабельный колокол, наверное, исключительно звонкий и мелодичный, этакое мирное пастушье болтало иши, нет, рында по-морскому?- впрочем, все равно,- главное, что красивый, и особенно большие золотые буквы вдоль борта- корабль назывался "Верный".

А крики уже стихали, и одна довольно ласкательная дамочка в малиновом платье умиротворенно сморкалась в кружевной платочек, и сумочка ее была открыта- наверное, станет сейчас красоте наводить, и толстый мужчина устало прихнувшись в пезлонт, тихонько завывая: вы-и-порю, вы-и-порю,- и движения людей, обращенных лицами к берегу, стали нервическими и напряженными, и я понял, что скоро о детях забудут, и если я сейчас же не скроюсь, то все обратят внимание на беспорядок моего туалета.

Тут я оглянулся и увидел стоящего под колоколом капитана — он был в ослепительно белой морской форме; на голове его красовалась белая же фуражка с золотым "краном" над козырьком. Лица у него, впрочем, не было, да оно и не нужно было ему, такому статному молодцу, что я понял, перехватив тоскливо-призывный взгляд малиновой дамочки, брошенный на капитана из-за пудреницы.

"Вот кто мне нужен!" — подумал я, глядя на капитана. "Подойду и спрошу, где здесь можно умыться." Мирный капитан взял меня под руку, приблизил несуществующее лицо свое к моему уху, прошептал что-то приятно-доверительное, и повел меня вниз. Если и был в интонации его слабый оттенок угрозы, то я предпочел не обращать на это внимание, ибо на то он и должностное лицо и облечен властью, чтоб вселить почтение. И, что самое главное, он твердой рукой вел меня к цели, и хоть это входит, наверное, в его обязанности, я был ему бесконечно благодарен. Последнее, что я увидел, сходя вниз по гремящей корабельной лесенке, — был далекий берег, и черные точки на берегу. "Бедные дети!" — подумал я. Никогда, никогда больше я не увижу вас! Не смогу поцеловать ваши тощие нежные мордашки; не побегу с вами наперекони от белой спасательной будки до дощатой пыльной уборной, никогда, никогда не услышу вашего милого солнечного лепета. На мои глаза снова навернулись слезы, но я поспешно вытер их носовым платком.

В умывальнике было прохладно и пусто. Слабый свет сочился из окрашенного белой масляной краской люминатора, напоминая о лунном сиянии, напоенный почти весенней тоской и трепетом, слабый и лживой любовной тлягой. Поста-

вив портфель на чистый кафельный пол, я прислонился к стене и предался воспоминаниям— целый хоровод нежных неслышимых рук и прозрачных волос закружится надо мною, радужные пузырьки поцелуев лопались у самых губ, влажный и теплый шепот лился в уши— или это волны плескались о борт?— не знаю, только я вдруг почувствовал себя мягким и милым мужем, Аладином, упоенно ласкающим зажженную лампу. Сколько же нежной силы в моем составе,— подумал я, немного очухавшись,— если даже столь слабое напоминание о весенних грезах, как игра оконных лучей, пробуждает во мне целенаправленный и могучий зов?

Собственно, это не было новым для меня известием, а скорее приятным осознанием внятного, но по-новому сладостного качества, которым каждый, кто смотрит на жизнь, как на раскрытую статушку, вправе искренне и с подъемом гордиться.

Вот радость—то! Скоро я предстану перед обществом, элегантный и вежливый. И тогда эта аппетитная дамочка в малиновом платье, я полагаю, посмотрит на меня не менее нежно, чем на безликого капитана.

Я снял темные очки и умыл лицо, тщательно массируя его ладонями, намыливаясь и смывая мыло свежей холодной водой, и это было чрезвычайно приятно, почти так же, как обладать. Не успел я насухо вытереться, как зазвонил барабанный колокол, и небольшие, необыкновенной, действительно, чистоты звуки коснулись моей барабанной перепонки и стали гармонично ее раскачивать— звонили к обеду.

Почтительно собрав умывальные принадлежности и сунув их в портфель вместе с темными очками, лихо щелкнув замочком

и выпрямившись, я вдруг почувствовал прилив бодрой силы и заспешил наверх по звонкой лестнице. Интересно, подумал я, ухмыляясь, — чем нас будут сейчас кормить? Судя по внешнему виду, да и внутреннему убранству судна, обеды здесь должны быть сочные. Посмотрим, посмотрим... Больше всего на свете люблю я поесть! Мне нравятся разные роды пищи: и бульоны, и бифитексы, и соусы. Ощущение, когда первый кусочек мяса касается раздраженного предвкушением рта — ни с чем не сравнимо! Ток вкусовой слюны из-под языка, дрожание каждого атома на его кончике — м-м, м-м, ня!

Человек жалкое жестокое животное, в основу своего телесного бытия положивший убийство; добрый пастырь, насыщающий овцу свою для того, чтобы в один прекрасный день перерезать ей глотку; создававший концлагерь для коров, стыдливо называя их скотофермами, зверски жарящий на сковородке еще не родившегося цыпленка — эту нежную вакуоль; безжалостно рвущий из земли кроткий и бессловесный овощ — ты прав! Ибо острее укуса и слаще перца сознание, что живость, поедаемая тобой — убита однажды, и предсмертный ее трепет, витая над тарелкой наподобие пахучего пара, заставляет твои чуткие ноздри раздуваться...»

Я вышел на палубу. Здесь все было залито солнечным светом. Прохладный морской ветер смягчал жару, играя одеждой, трепая многочисленные кудри. Посмотрел на небо. Там летали, мерно жужжа, такие четырехконечные штучки — крестинки, назначения которых я не знаю, но взгляд мой их воспринял, как нечто знакомое с детства. Перевел взгляд на горизонт. Берега было не увидеть. Непонятно почему, все пассажиры сгруппировались на корме, отсюда раздавался невнятный шум голосов. Надо всем, из толпы, витала желтая кокарда капи-

тана, и нечеткий, но выразительный его голос. Движения людей — резкие, раздраженные, напомнили корриду, потревоженных ос, рынок. Наконец, толпа расступилась и оттуда вышагнул капитан, любовно держа за руку невысокого худого человека в измятых джинсах, потрепанном пиджаке, босого. Они подошли к стремянке, стоящей у капитанского мостика, и капитан знаком приказал ему — лезь! Тот засучил ножами по перекладинам, довольно ловко перемахнул через перила, сверкнув желтой пяткой, встал. Капитан, никак не растерявшийся по пути своего достоинства, водрузился рядом. Я подошел ближе. Вот мелькнуло в толпе малиновое платье приглянувшейся мне дамочки, я притиснулся к ней и, наклонившись к розовому ушку, спросил вполголоса: "Что здесь происходит?"

Она повернулась ко мне лицом удивленным; розовые лучи, исходящие от моих гладких щек, ее покорили, — усмежившись кокетливо, она сказала: "Видите — зайца поймали!" Крепкие, курносые соски ее торчали вверх, задирая платье; ярко накрашенные губы с перламутровым отливом неплотно прилегали друг к другу, хотелось просунуть туда язык; карие глаза с порочащей поволокой — это я заметил и раньше — чуть испуганно обещали...

— Зайца? — спросил я удивленно, — безбилетного пассажира? Где же?

— Внизу, в трюме, — она была возбуждена, — говорят, его сейчас будут судить!

— Судить? — брови мои удивленно взметнулись, — за что же?

Она нагнулась ко мне еще ближе, так, что ее длинные волосы коснулись моих щек, а круглое плечо прижалось к мо-

ей груди, и жарко зашептала:

- Понимаете, у нас здесь все рассчитано... Заласы воды, пищи... Кроме того, наше особое- ха-ха!- положение, вы меня понимаете?- не совсем удобно... свидетель...

- Так что же, выходит, по-вашему- камень на шею- и за борт?- спросил я возмущенно. Люди, стоявшие рядом, вздрогнули, посмотрели на меня неприязненно, отодвинулись.

- Тихе, тихе,- зашептала она мне на ухо,- не стоит заявлять о себе столь резко, пока вы не там!- она указала на капитанский мостик.- Вам дадут слово, вы высказаетесь... Здесь же- молчите, или говорите мне на ухо. Вас могут неправильно понять... Рассердятся...

Я замолчал. Хорошо же, я дождусь своей очереди и выскажу все!

На мостике в это время стояли уже трое: ботный больной капитан, человек из толпы, ничем не примечательный, разве что рыжий, и пушляк между ними. Рыжий поднял голову и заговорил неожиданным басом:

- Дорогие друзья! Я удивлен и растерян! У меня нет слов! Но я скажу! Скажу, дабы проставить все точки над и! Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Лазурную даль... Да-с! Поглядите на небо... Лазурь! Правда, несколько более бледная, но чистая. А теперь взгляните сюда, рядом!- он указал короткой ладонью на съежившегося под многими взглядами нарушителя. Разве ваш взор отдохнет, остановившись на этом субчике? Нет, нет и нет! Это жалкое, грязное, растерзанное существо! Ни благородной осанки, как, например, кэм, у многих из нас, ни белой красивой формы, как у нашего милого капитана,- ничего!

Поймите меня! Я смотрю на дело лишь с точки зрения

красоты— не более. И все же, разве мы можем потерпеть в своем обществе столь пакостное явление? Никогда!

— Вымыть, вымыть!— раздались крики с палубы.

— Вымыть, вы говорите? Одеть? Побрить? Нет! Разве можно смыть эти торчащие ключицы, или сбрить эти огромные уши, говорящие о дурных наклонностях? Разве произойдет чудо, способное превратить этот корявый сучок, это подобие человека,— в такого, как мы— любезного взгляду? Мы оставили на берегу детей— детей, плачущих и кричащих. Мы покинули их навсегда. Навсегда!— вы понимаете? И вдруг нас, еще кровоточащих от свежей душевной раны, оскорбляет своим некрасивым присутствием этот типчик!

Не подумайте, что я намерен подсказать вам решение. О нет, я не хочу этого. Вы, далекие от незрелой порывистости, сами примете наилучший выход. Но красота, гармония взгляду, стиль,— вот за что я ратую всей душой! Я кончил.

В толпе тем временем устанавливалось довольно прочное молчание. Наиболее наивные недоумевали; другие, просвещенные,— с живым интересом ждали, что же из всего этого впоследствии последует; остальные— небольшая по численности группа,— пребывали в равнодушии, так, например, туло уставившись в палубу взглядом, мрачно стоял толстяк. Я внимательно посмотрел на удрученного подсудимого, столь некстати, по мнению большинства, появившегося на нашем судне. Строго говоря, ничего brutального не было в выражении его затрещанного лица. Так, небольшой заморыш, по всей вероятности электромонтер. Маленькие, бескрылые дужки бровей, узенький, щелочкой, рот, бледные волоски на небольшой головке говорили о полнейшей заурядности и никоим образом не выдава-

ли причин, которые могли бы заставить эту миль скрываться в трюме нашего необычного корабля. Нет, меня решительным образом раздражает это импровизированное разбирательство! Не узнав ни имени несчастливца, ни его социального, так сказать, положения, ни побуждений, добродетельные судьи наши с варварским пылом бросились рассуждать по существу дела. Ни одна из форм судебной классики не была соблюдена. Я понимаю, что, по существу, соблюдение или несоблюдение правовой традиции роли не играет, и так называемый самосуд может быть, наиболее оперативная, да и справедливая форма судебного разбирательства. Но высшая гуманность, продиктованная нам цивилизацией, заставляет нас приветствовать форму — и неспроста. Несмотря на то, что все, как уголовное, так и гражданские дела на этой планете кончались одним единственным — смертным — приговором, пыльная бюрократическая обрядность суда действует на обвиняемого успокоительно. Ему кажется, что не просто жалкая кучка людей жаждет его вязкой крови, — нет, могучие, высшие социальные силы, силы логической справедливости, с неумолимой, но гармоничной настойчивостью влекут его к последовательной смерти. И это облегчает ему минуты перед: повешеньем, расстрелом, гильотинированием, сожжением на электрическом стуле, гарротой, удушением в газовой камере. А в этом, может быть и слабom, утешении, люди не в праве отказывать бедняге — смертнику.

Впрочем, взволнованный, я отвлекся. А на месте исчезнувшего в толпе рыжеволосого уже стоял длинный, как жердь, блондин в тяжелых очках. Он говорил: "...таким образом. И никому не позволено. В связи с этим мне вспоминается одно небезизвестное вам изречение: миль адмирари! Ничему не

удивляться! А что суть удивление? Вы когда-нибудь задумывались о природе его? Нет, конечно? Тогда я возьму на себя труд рассказать вам... Удивление— это ~~красивая~~ песнь взлетающих век, это взрыв зрачков. Удивление— это трепет внезапно разбуженного сознания. Памятник ему— соляной столп, бывший некогда женой Лота. Проявления его радужны и многообразны— от тупого "Чаво?" поселенца, до востреньего "Вот как?" разгравшегося бойца. Ничему не удивляться... По-моему, мало на свете положений, звучавших бы столь же кощунственно. И как скорбит мое сердце, какой упругой спиралью разворачивается в нем боль, когда я вижу, что вы, люди, отчасти избранные, не удивляетесь столь чудесному появлению у нас некоего нового, и вовсе еще не пригубленного явления. Да-да, я говорю о внезапно появившемся у нас пассажире. Пусть вид его неказист. Но душа его для нас— тайна, тайна еще не раскрытая. Как знать, может быть, в этом синем имберлите непривлекательной внешности откроются азы драгоценного соучастия к нам, столь тяжелую утрату несущим! Больные, далекие дети, покинувшие нас! Может быть, они уже утешились, и играют сейчас в япту, или в "третий лишний". Может быть, напротив, они плачут сейчас— наше будущее, пропавшая наша отрада! Так неужели мы будем жестокими к человеку, которого не успели еще узнать? Пускай он поживет между нами, и если ему не удастся оправдать наших надежд, если наше удивление сменится гневом— пускай! Пускай свершится корабельное правосудие, и я сам берусь исполнить его. Я буду непреклонен и мужественен! Я буду силен и жесток! Вы знаете, на что я способен? Когда-то я изучал дзю-джитсу и карате. Я участвовал в войне, и получил награду за храбрость! Я готов поразить свою жертву так, что она и пикнуть не успеет!

Что, не верите? Думаете, если я сутул и несколько худощав, то уже не способен совершить обещанное? Что, доказать вам? Пожалуйста! А ну становись в позицию, прощелыга!

Капитан вошел между ними. Он положил руку на плечо расхаливающегося очкарика, и показал вниз. Тот, ни слова не говоря, стал спускаться. Ноги его, видимо, прожавшие от только-что пережитого пафоса, действовали неверно, грубо раскачивая стремянку. А он, как-будто, не замечал этого. Наконец, шаткая стремянка не выдержала и повалилась. Падение ее вызвало взрыв громового хохота. Хохотала даже дамочка, пребольно воззвизвись мне в ладонь ногтями. Я осторожно высвободил ее и с независимым видом двинулся к капитанскому мостику. Со свойственной мне ловкостью я прочно установил стремянку на пошатнувшихся было ногах, залез на импровизированную трибуну и огляделся. Не могу сказать, что толпа, открывшаяся моему взору, представляла собой привлекательное зрелище, — напротив, она внушала легкое отвращение, ибо слабая, слегка похотливая рябь, ее колышавшая, выдавала ту степень стадного физиологического возбуждения, когда недалеко переступить нравственные, может быть, и постылые, законы, и отдаться все сметающей тяге эксцентрических, чаще всего кровавых, поступков; странным образом и окраска толпы, состоящая из злобешего сочетания черного и белого, соответствовала общему настроению; ярким мясным пятном торчало в ней мое платье малиновой дамочки — красный глаз на незиятной, испорченной оспинами роже, и презвие мне пришло в голову странное — Кисюп.

Сей Кисюп бормотал вовнутрь себе нечто незиятное, ехидно разными голосами; он опасен, но он же и глуп, глуп

именно потому, что вышел из темной своей пещеры, пересыпанной пословицами и дремучим сном, и позволил себе попасть в непривычное положение одиссея. "О, одноглазый полосатый Улисс, не совершай ошибок! — так начал я свю, повидимому, защитительную речь. Толпа притихла. — Люди! — продолжал я. Я обращаюсь к вашей натуре, к вашему пещерному кутру! Заткнитесь, и слушайте его внимательно, и вы поймете, что в ваших душах гнездится много весьма похвальных инстинктов! Конечно, легко сказать, мол, все люди — враги; многие, я уверен, с наслаждением присоединятся к этому парадоксу. Но разве не очевидно, что высказывание это неверно? Простой здравый смысл подсказывает нам это.

До чего же мы все-таки докатились /простите за невольное воодушевление/, если мне приходится доказывать вам, что вы добры по природе своей, а вы мнетесь и не верите, и я понимаю вас, вашу маленькую пугливую душу, которой дан столь невеликий иммунитет против зла. Впрочем, я сам точно такой же, как вы, вовсе не осуждаю вас, а люблю, — напротив! и если кожа моя чуть-чуть глаже, то это ничего...

Вдруг густым басом загудела сирена, а потом чей-то голос с двоекратным увеличением проревел в динамик с обязательной интонацией: "Просим пройти на нижнюю палубу! Там приготовлен для вас обед!"

С невероятной быстротой стала рассасываться толпа. Последней ушла милашка в малиновом, посылая мне на ходу воздушные поцелуи; капитан, уже давно спустившийся на палубу, чистил рукавом корабельный колокол. Мы с зайцем остались вдвоем на возвышении. — Ну-с, — сказал я, — пойдём и мы?

— Отнюдь! — услышал я злобное, — не обманешь! Я, если надо, зубами буду царапаться... Пасть тебе, суке, разорву!

Голос его моментально взвизгнул до визга. Экая, однако, злобная мышка! — подумал я. — Ну и стой тут, дундук! — сказал я на непонятном ему языке, — прохлаждайся. Мне, в сущности, на тебя наплевать! Понял?

Я аккуратно, не испытывая уже ни малейшего участия к этому невоспитанному, злобному типу, спустился вниз, на палубу, и, оглянувшись, увидел, как тот, скорчившись, стоит, синий, у поручней, под ярким послеполюденным солнцем. Я подошел к капитану, который, кончив уже надирать колокол, любовался делом рук своих. Отлично сверкает! — сказал я, — и, помолчав, добавил: Простите, а вам не грустно, капитан?

Тот ничего не ответил, дружелюбно взял меня под руку, погрозил зачем-то указательным пальцем, и повел на нижнюю палубу, где уже звенели посудой за густо уставленными столами обитатели корабля. Обед был прекрасен — и по качеству, и по сервировке, — последние события, проскакавшие по палубе неизящной, но стремительной рысью, — так, наверное, скачет трехногая кобылица, — возбудили мой, и без того непомерный аппетит. Голод душевный следует лечить земной пищей. Вот сейчас я, покоробленный, несколько раздраженный происшедшим, взволнован, — и, наверное, это отражается на моей внешности; но стоит мне сесть вон там — рядом с толстяком, очкастым оратором и мылашкой, за сверкающей серебристой посудой стол и съесть хотя бы малый кусок, а потом еще один и т.д., как настроение мое поднимется до присущего мне благодушия. И это — утешительно...

— Не возражаете ли вы, — начал я, подойдя к столу, — против того...

— Садитесь! — буркнул пузан куда-то в сторону собствен-

ного пуга, — этаким невежа.

— Конечно, конечно, присаживайтесь, мы вам очень рады! — протараторила дамочка.

— Очень радѣ видеть вас рядом! — внушительно произнес очастый. — Ваша незавершенная речь во время суда произвела на меня прекрасное впечатление, и только настойчивость, с которой нас приглашали к обеду, не позволила мне дослушать ее до конца. Впрочем, ведь и моя речь была недурна, не правда ли? — спросил он с самолюбивой интонацией.

— Несомненно, ваша речь была не лишена литературных достоинств, — произнес я, опускаясь на стул. — Что же касается ее содержания, то я не могу вполне согласиться с той противоречивостью, вызванной, по-видимому, ораторским возбуждением, которой она, по-моему, страдала.

— Боюсь, что вы судите чересчур формально! Дело ведь не во внешней логичности, но во внутреннем эмоциональном единстве, которого не быть и не могло, ибо речь эта была произнесена мною, вполне законченной, замкнутой личностью, тем самым любые ее противоречия были только отражением моей цельности.

— Так-то оно так, — сказал я с легкой полуулыбкой, машинально поглядывая на широкие, сладострастно изогнутые бедра митанки, сидевшей довольно далеко от стола, — но ваше высказывание рекомендует чрезмерную, невыносимую творческую свободу. Лишь ограничения, логические и эмоциональные, отделяют искусство, каковым является и риторика, от анархии бытия. Поэтому наличие цельности, если на нее претендует произведение искусства, может определяться только с точки зрения законов самого искусства, которые и представ-

ллет собой сумму ограничений, но не с точки зрения отдельной личности. Передайте мне, пожалуйста, рыбу. Большое спасибо.

- Не слишком ли сильно сказано? Импровизация не подлежит столь строгой оценке. В речи моей все было — порыв, мечта...

- Я, честно говоря, более серьезно отнесся к ситуации, предшествовавшей моему выступлению. Мне, право, стало на минуту жаль незадачливого прохожего...

- И вы были обмануты в своей жалости? Не так ли?

- Разумеется. Впрочем, дети, которых мы оставили...

Впрочем...

Мне казалось, что мысли мои слегка начинают путаться. Со мной всегда так во время обеда — больно уж аппетитной действительностью был я окружен — янтарные, до блеска вымытые доски налужи, белая, стерильно чистая матовая скатерть, красный белужий бок, нарезанный толстыми жирными ломтями, — все это отвлекало меня от абстрактных рассуждений, особенно молодежавшая красotka в малиновом.

И вдруг это физиологическое чудо, этот духный пузырь заговорил подумечным голосом:

- Не желаете ли водочки? Холодна, горемычная, припота! А как играет-то! Огонь! А то вы все: элоквиенция, конституция... Ну не совестно ль вам? Пропустим под красную-то белорыбицу? И он сладострастно подмигнул мне. Кислая мина искамила лицо охастого. Он перевернул свою рюмку донышком вверх и произнес, глядя на меня: — Я отказываюсь. Месье, наверное, натурфилософ...

- А я, пожалуй, выпью рюмку, — мой язык смачно был по зубам и по небу, произнося вышесказанное, — грею. Вы не

желаете?— обратился я к дамочке.

— Рюмочку! Махоньку! Ой, только не до полна! Спа-а-сибо...

Мы выпили. Красные ее губы были замочены, ярко блестя, полуоткрытые, они и впрямь напоминали полуразрезанный гранатовый плод. К нам подошел капитан, перепопсанный поварским передником, держа в руках поднос с кавказским бараньим купаньем, каким-то супом, от которого веяло вкусным запахом; кометливо изогнувшись, он ловко встал во фронт, отдал нам честь двумя пальцами, держа поднос в левой руке, и удалился.

— Не правда ли, он очень мил?— спросила меня дамочка искательно.

— Хорош, — сказал я ехидным тоном, глядя ей в глаза, — впрочем, не находите ли вы, что у него несколько отсутствующее выражение лица? Дамочка растерянно хихикнула, а толстяк забубнил:

— Экий вы бурбон, все-таки. Так нельзя! Ведь бестактно же!

Я посмотрел направо. Сосед-интеллектуал откровенно хохотал, беззвучно поблескивая очками.

— Не сердитесь, душечка!— сказал я толстяку. — Я никого не хотел обидеть, — ни вас, ни мадам, ни, — заглазно, прелестного капитана. Это была только шутка-фук, и нет ее. Растаяла. Вознеслась.

— В каждой шутке есть доля правды!— промолвил толстяк злоречиво. — Э, да чего уж там! Давайте-ка лучше по второй, под баранью уху!

— Я — пас!— отказалась женщина. — Нет, не подумайте,

это не из кокетства... Просто я боюсь, что у меня закружится голова... Эта качка... И потом, вино будит во мне воспоминания о прошедших днях, среди которых, поверьте, — были и сладостные ценьки...

— Поешьте и все забудется. Тяжесть в желудке располагает к миру, бестревожному... Еда забвенья! Меня она неоднократно спасала. А вас — нет? — спросил я у очконосца.

— Я крайне умерен в пище и питье. Для меня средством забвения служило чтение книг — Толстой, Гесиод, Кафта...

Дамочка с новым уважением посмотрела на книгоцеля. — Содержательный! — было написано на ее мигом личике. — Ничего, ты забудешь о его содержании, даю слово...

— Лью, — уверенно произнес толстяк в мой адрес. Мы чокнулись и моментальное тепло вознаградило меня за минутную горечь губ. И вправду, качало. Ртутное, огромное море, полное тяжелых крабов, подвешенных к нему, наподобие грузин, в шахматном порядке, ныряющих по неведомому обряду темную соленую воду, колыхалось; тем не менее лаковая гладкость волн была совершенна, легка, но и в этой легкости содержалась невыразимая мощь морская. Две силы мира — редкая, невесомая — неба и превесомая — моря легко стыковались на горизонте, создавая впечатление в ниточку сомкнутых губ — аскетизм природы. Легкая сдвигнутость форм и обличий близлежащего мира — моря, неба, судна и трех людских иностасей, рожденная алкоголем, не мешала мне, скорее помогала видеть его — гротеск способствовал уточнению восприятия.

— Простите, — обратился я к интеллектуалу, — мне хочется задать вам несколько старомодный вопрос. — Не кажется

ли вам, что все это, — я обвел рукой вокруг себя, — создано по некоему единому замыслу, предопределено разумных и единственно верных сочинений?

Очарник положил ложку, промакнул салфеткой уголки рта.

— Я атеист! — сказал он с гордостью.

— Что вы под этим подразумеваете? Свое неверие в Христа, Сиддартху, Одина, Ягве, Велеса? Или отрицание причинно-следственных связей в мире?

— Не купите! — хихиканул очарник. — И то, и другое!

— Стало быть...

— Стало быть, мир безумен, возмездие за преступлением не последует, и то, что мы не ходим вверх ногами — обычная аномалия.

— Смело!

— Как сказать! Согласитесь, что, когда вы защищали подсудимого, вы, хотите того или нет, подсознательно представляли его таким ягненным, такой идеальной жертвой! И то, что он был наполнен иным, чем вы представляли себе, содержанием, оскорбило ваши причинно-следственные инстинкты. Не так ли?

— Ого! Да он неглуп! — с удивлением подумал я и сказал: — Да, но если б все мы ходили вверх ногами — разве не было бы это отражением какого-либо иного закона?

— Не придирайтесь. Вы отлично поняли мою мысль.

Дамочка меж тем обижено молчала. Еще бы! Что может быть для застольной женщины оскорбительнее умственных бесед?

Запробуждала палуба, а с нею и весь корабль, который

вдруг стал терять прежнюю легкость хода, влопо покачиваться, слегка хлопая по волнам, так что несколько случайных брызг долетело и до нас.

- В чем дело? - спросила дамочка, побледнев. - Ни у кого из вас нет сигаретки?

- Не курю, - сказал толстяк. - Да вы не беспокойтесь, сударыня!..

- Прошу вас! - протянул ей озабоченный довольно изящную черепаховую сигаретницу, и, когда она слегка дрожащими пальцами брала из нее, он, я заметил, постарался прикоснуться к ее руке своей. Они обменялись быстрыми взглядами. Взгляд ее выражал к счастью, только удивление, а его - плохо скрытую похоть. Вдруг раздался голос из репродуктора: "Дорогие пассажиры! Мы просим вас не волноваться! В моторе заклинило, но это вполне исправимо и, уверяю вас, за ремонт дело не постоит. Продолжайте обещать, как ни в чем не бывало. Сейчас подадут второе!"

- Ну вот и отлично! - сказал толстяк, - можно и под второе! Будете? - спросил он меня.

- Хорошо, последнюю. Вам я тоже советую выпить, - обратился я к дамочке, - это вас подкрепит, а то, я вижу, вы волнуетесь и совершенно напрасно! Вы ведь и сами прекрасно понимаете, что беспокоиться пока не из-за чего! Не так ли?

Глаза мои я подсветил дружелюбием, щени слегка улыбались, и тембр голоса, я уверен, в точности соответствовал элегантности моего одеяния.

- Да, вы правы! - сказала она с легкой усталостью. - Налейте и мне.

Принесли второе— отличного жареного гуся с печеными яблоками. Пока толстый ловко орудовал ножом, разрубая его на четыре доли, судно перестало трясти.

— Итак, все в порядке! В добрый путь! Мы выжили, а гусь удался на славу. Надо сказать, кругом нас, за разнокалиберными, но одинаково изящными столиками с таким же аппетитом жрали; никто, повидимому, кроме нашей первой дамочки, не придавал значения легкой заминке в движении— жирные, опрятно одетые бабы, мужчины в выходных костюмах, лысые и волосатые, чистые и угреватые, с непреходящим пылом месили воздух губами, производя различные по чистоте и эмоциональной наполненности, но, повидимому, осмысленные, хоть и непонятные мне звуки. Как я уже упоминал, в одежде преобладала черно-белая гамма, но голоса были разноцветные; в целом это напоминало индонезийскую птицефабрику, и лишь отчасти— свиноферму; кое-кто успел уже тяжело набраться, так что несколько красных увесистых харь с листиками сельдерея в устах покоилось на огромных серебряных блюдах, специально для этого приготовленных. "Из праха выжили, в прах выйдём"— вспомнилась очень, по-моему, подходящая к случаю фраза, вычитанная мною в каком-то романе. И еще вспомнилась мне друг из другой жизни— он зарабатывал тем, что расписывал плакаты в больницах; особенно ему удавались человеческие потроха— синие, красные, фиолетовые; я входил к нему, а он в залачканном гуашью свитере ползал по распятым на прогрунтованном полотне членам, которые, еще бесплотные, только околонтуренные, не были живы, но под его чуткой палтерней, державшей кисть надлобье скальпеля, на них проступала живая кровь. В комнате обычно было наку-

рано от вечно дымящейся в его зубах сигаретки, и, здороваясь со мной, он вынимал ее изо рта, и зычно хохотал, блестя зубами, попирая ногами в коротких синих носках, распяленных крепкими пальцами, печень, селезенку или самый мозг человека. Может быть, он, этот маленький демиург, и подсказал мне вспомнившуюся фразу. Между тем пришла пора вставать из-за стола, что не могло меня порадовать, ибо сидеть за ним было чрезвычайно приятно; впрочем, легкое неудовольствие, вызванное этим печальным фактом, моментально забылось, так как я вдруг увидел глаза своего оппонента, устремленные на меня с необычайной, заботливой просьбой. В чем дело?— я не спросил, но ждал, что он сам решится мне сказать. И он заговорил.

— Простите,— сказал он мне,— я необычайно волнуюсь. Вот мы с вами разговорились, и я понял, что вы отнюдь не относитесь к числу заурядов и способны понять многообразные тонкости бытия и искусства лучше, чем огромное большинство людей. Видите ли, последнее время, лет около трех, я работаю над весьма важным для меня сочинением, и вы очень обязали бы меня, если бы сообразовали его выслушать. Я понимаю, что произведения, еще не освященные таинством полиграфической публикации, вызывают легкое недоверие. И все же...

— Не трудитесь объяснять,— предупредил я его быстро текущие оправдания.— Из нашего недолгого, но содержательного общения я вынес довольно прочное уважение к вашему уму, так что мне доставит удовольствие вас послушать. Вы, вероятно, не будете возражать, если и наши сотрапезники послушают вас?

— Конечно, разумеется, почему бы и нет!— сказал он

радушным тоном, с легкой кислинкой в голосе.

Фемина тем временем встала из-за стола и подошла ко мне; у нее были длинные узкие, прелестной лодочкой кисти рук, и одну из них она подсунула мне под мышку, и нагретые электроны, струящиеся из моего тела, пронзили ее, но не больно, а ласково; впрочем, я понял, властно, — так откликнулся уголки ее губ. Итак, я под руку с дамой, упругий цузан и ведущий нас сочинитель нестройной, но внушающей уважение группы затопали вниз в каюту. Мы углубились в теплое кутро корабля, где красное дерево вдруг обрамлялось медью; белым тупым удивлением встречали нас волоокие очи матовых ламп; прогнившая полуоткрытая дверь, откуда либа-но снелъ и кукареканьем-кухня? изолятор? Поход наш ни малейшим образом не напоминал путешествия по Лабиринту; непонятно, зачем он мне вспомнился, и какой Минотавр, покрытый дымчатым злым ворсом, поджидает нас за углом, уж наверняка не то потенциальное чудовище, ради которого мы оставили детей — скорее всего красноцветная, с утонченным, чуть напрыганным лицом дамочка напомнила мне тонколикие фрески Микен.

Нет, все-таки теленатический процесс посетил чувствительные клетки моего мозга, потому что, когда наш предводитель открыл ключом дверь, и мы вошли в комнату, из полутемного угла раздалось угрюмо-приветственное мычание, и когда были раздвинуты плотной материи занавески, солнце, не потерявшее еще своей дневной силы, осветило полуголый волосатый торс быкорожего увальня, который, ковыляя на неуклюжих ногах, недовольно пофыркивая, отодвинулся и присел на корточки, где свет его не доставал.

- Прикройся! - сказал очарик повелительно, бросив ему какую-то тряпицу, лезавшую на диване. Тот исполнил приказ, неумело ворочая неловкими лапами.

- Не смущайтесь! - сказал предводитель. - Это мой друг и поцелечный, он совсем ручной, не обращайтесь на него внимания, друзья мои!

Дамочка, слегка взволнованная, прижалась ко мне. Я обнял ее за талию и усадил в кстатн подвергнувшееся кресло, а сам сел рядом, плотно прижавшись к ней. Ее дыхание успокоилось, ритм его выразил покорство и благодарность.

Сочинитель подошел к чемодану, покоившемуся на полке, щелкнул замочком, нырнул там и вскоре извлек на свет божий тонкую школьную тетрадку; присев за стол, он оглядел всех нас пристально.

- Начнем, пожалуй? - в его тоне слышалось волнение.

- Разумеется! - пробубнил толстяк. - Не зря же шил!

- Большое спасибо! - ответил автор с некоторой неприязнью и, посмотрев на меня, показал глазами в сторону толстяка: не века!

- Итак, я начинаю! Слушайте. И ты, дружок, помолчи, не урчи, пожалуйста! - ласково обратился он к быковатому. Тот умиротворенно мыкнул и чтение началось...

Убийство на улице №

- Ах, но зачем же кричал! - вскричала она укоризненно, прижимая к ране кружевной платочек. - Честное слово, вы чудовище, Валентин!

- Итак, сударыня, вы убиты! Прощу вас - падайте.

- Но я вовсе не плохо себя чувствую! Не понимаю, с ка-

ной стати я вдруг должна падать на пол? Во-первых, это повредит моему туалету, а во-вторых, — губы ее дрогнули, — это больно, наконец! Я улыбусь...

— Какое это имеет значение, — произнес Валентин с сардонической ухмылкой, — когда вы мертвы. Ну, не капризничайте, друг мой, прошу вас!..

— И вовсе я не мертва! Уверяю вас, рана не смертельна, иначе разве я стала бы с вами, противным, разговаривать?

— Посмотрите, — он обтер книжечкой лобной лямочки, и поиграл им на свету, — ведь это же дамаски! Да он не меньше двадцати сантиметров длины! Вы помните, что лезвие вошло по самую рукоять?

— Разумеется, помню, глупенький! Ах, Валентин, разве можно быть столь безбожным ревнивецом! Вы, все-таки, совершенно меня не уважаете! И откуда в вас этот моветон, эти бизоньи инстинкты?

— Не отвлекайтесь, друг мой. Так вот, уверяю вас, что книжечка пробил селезенку, напрочь развалил двенадцатиперстную кишку, задел желудок и, я полагаю, уперся в позвоночник, поранив его. Да половиной этих разрушений хватило бы и быку! Так что не сомневайтесь, друг мой, вы сражены! — Она побледнела. — Если вы позволите, я присягну, мне и впрямь что-то нехорошо. Так вы полагаете...

— Я уверен! — в голосе его прозвучали самодовольные нотки.

— И вы так спокойно об этом говорите? Возмозный эгоист! Вы не любите меня! Нет!

— Но позвольте, с какой стати иначе я стал бы вас убивать?

- Что вы задумали- убивать, убивать! Повторяю, я не так уж плохо себя чувствую! И я не верю, понимаете, не верю, что у вас хватило жестокости лишить меня жизни.

- Вы сами в этом повинны, милочка. Вам чудовищное кокетство...

- Да поймите же вы, наконец, ну как я могла кокетничать при этой ужасной ране? Какой же вы все-таки глупенький!

- Мадам, ну что за логика! Я, наконец, теряю терпение, черт побери!- он нервно замагал по комнате из угла в угол.

- Да-да, я понимаю, вам нечего мне возразить, вот вы и мечетесь! Ах, эти уж мне мужчины!

- Но поймите, в который раз я вам говорю, рана смертельна, и она появилась только что! Естественно, у вас не было ее неделю назад, когда я застал вас...

- Ах, не вспоминайте!- вскричала она, - я краснею...

- Да умрете ли вы наконец? Повторяю, и заверяю вас честным и благородным словом- рана смертельна!

- Послушайте, а я начинаю вам верить... Вы и вправду хотите, чтоб я умерла?

- Ну, конечно же, и чем скорее, тем лучше!

- Ну, что ж! Я, наконец, решилась. Но помните, злодей, что до самой гробовой доски вас будет мучать нечистая совесть! Прощайте, милый глупый!

Она вскочила с дивана, заматалась и рухнула на линолеумный паркет, раскидав свои члены наподобие жалкой тряпичной куклы.

- Мертва!- прошептал Валентин.- Навек, любимая...

Он отошел к окну, и стал смотреть туда, где легкие сиреневые сумерки большого города вдребезги разбивали расцветавшие огни рекламы.

- Вот и все!- промолвил творец, насупившись; бледное лицо его зарумянилось, длинные белесые волосы, длинные матовые пальцы, длинный стан его колькались подобно водорослям; из угла вдруг послышалось хрипение и плач. Мы все, повернувшись, глядели и слушали- плакал неуловимый бычок, что-то слоняво маяля про себя, взревывал в непонятной нам боли; жмы на толстой жее натянулись, заросшее щетиной лицо было сплошь залито жирной обильной влагой.

- Ну что ты, глупенький?- ласково спросил его очарник, - голос которого узвончался, - не плачь, успокойся, малыш!

Он подошел к манстру, положил свою длинную белую ладонь на его лохматую голову и погладил ее; потом, видимо что-то поняв, он запустил руку куда-то вглубь, за спину быксообразному, под лохмотья, и вырвал оттуда две короткие, с окровавленными остриями бандерильи и бросил их в угол, не глядя.

- А все-таки, друзья мои, он жалует меня, - сказал интеллектuali растроганно... - Осызает мои мучения...

Толстяк с неудовольствием наблюдал за происходящим, дамочка же была спокойна- она понимала. В это время послышался топот и крики с палубы; что-то железное там пробежало, выло и ухало; снова странная дрожь потрясла судно до основания.

- Что же это?- спросил толстяк испуганно, - неужели же начинается?

Дамочку опять зазнобило, писака, как бы лишившись сил, присел на стул у двери, да и я, честно говоря, почувствовал себя неважно — что-то липкое, сладкое и тягучее растворилось в моем составе, мешая сосредоточиться; только быковатый был умиротворен, бездумно и вяло он полизывал у себя между пальцами, что-то заунывно-веселое напевая; его инстинктивное спокойствие меня подбодрило и я сказал сам себе с надеждой: еще не время. Томительно дребезка, тянулись минуты, освещенные слабющим из окна солнцем; ухање и дрожь не прекращались, но я уже почти успокоился и стал думать о детях — как они сейчас, — любимые! — капризничают — вечерний свет всегда рождает в них капризы, и парного молока из чашки не хотели, потому что оно вовсе и не полезное, и пусть его пьет коровья деточки — каждому по чашке, а мы пить не будем, потому, что мы уже не маленькие, а каркает это кто? галка! и вовсе не ворона, оттого, что грач. И мне захотелось брусники, и я снова чуть не заплакал, как всегда, когда я о них вспоминаю, впрочем, дорогой мой, я попрошу вас не распускаться! Ну посмотрите, как испуганно смотрит на вас это очаровательное, желающее вас существо. Ну хорошо ли будет, если прямо при ней у вас из глаз посыпятся голубые клемы? Держитесь уверенней, сударь! — сказал я себе, — и вы отлугнете несчастье хотя бы на время!

И точно, ухање прекратилось, вибрация тоже, и местное радио сообщило: "Не беспокойтесь. Все в порядке, мисс пассажиры! Солнце светит, и те, кто хочет, могут потанцевать!"

Тотчас из маленького пластмассового динамика на стене полились звуки какого-то бравурного танца. Я встал и выру-

бил музыку.

- Здесь, кажется, бар, - с остаточной хрипотцой промолвил хозяин. - Там есть спиртное и бутерброды. Если желаете, можете подкрепиться!

Никто не отказался, и вскоре каждый из нас держал в одной руке бакал с крепчайшим кубикским ромом, а в другой - сэндвич с холодной телятиной, которая, несмотря на недавний обед, показалась мне необыкновенно вкусной. Да, хороши они, эти коровьи дети в вареном виде, гораздо лучше брусники - кислой и грубой ягоды; все раскраснелось, все воодушевилось, и развязавшиеся языки, - даже Фемина нечто мелодичное лепетала - заговорили о полном и безраздельном довольстве.

- Так вот, дружок, сочинение ваше мне очень по душе. Его отличает необыкновенное изящество композиции, легкость исполнения, глубина чувства. Я совершенно далек от того, чтобы считать вещь вашу просто изысканной зарисовкой. Она принадлежит к разряду таких литературных новинок, где мысль не декларирована, не исходит до вульгарной образности, но зашита в самой структуре произведения, воспринимается, так сказать, на морфологическом уровне. Единственное, позволю себе заметить, возражение, у меня возникшее, сводится вот к чему: не слишком ли вы злоупотребляли искренностью, которая, к сожалению, здесь очень четко просматривается. Понимаете, от милой вещи волной разит за версту грубой автобиографичностью. Могу понять, что событие, человека поразившее, рано или поздно отражается в его творении, но не искусней ли было бы, если бы вы зашито вспоминавшие на уровень, скажем, интонации, в произведении, трактуемом,

например, о розах?

- Вы совершенно правы. Но я не мог...

- Вовсе он не прав! - провозгласил кузмерь, покачиваясь над полом. Сшитые тонкие ножки удерживали его у земли, наподобие привязанной к полу нитки, а то бы он, вероятно, снялся и улетел в окно. - Совершенно не прав! Ну при чем здесь розы? Розы-то здесь при чем? Вот, помнится, плыли мы на корабле. Побольше этого, конечно, но народу ни души - сплошные звери и птицы. И приплываем к большой такой армянской горе. Тоска невыносимая, скучно. Ну, я голубя выпустил, жму, что будет. Он полетал-полетал и вернулся. Тут-то я и подумал: вот чего не хватает мне сейчас - чувствований! взаимоотношений! А вы говорите - розы, мимозы, интонация, перетурбация! Стишно... А что он ее убил, так и правильно сделал - нечего подолом вертеть!

Новоявленный Яфет слушал его внимательно, впрочем, чуть презрительно улыбаясь; Хам уснул в углу под окном, накрывшись попоной; Сим, то бивь я, мечтал только о двух вещах: о дамочке и о себе.

- Простите, - сказал я, - но ведь и вам услышанное понравилось? Покрапилось, совершенно определенно. И чувствительно, и поучительно. И это... Налейте-ка мне еще ромцу малость. Для укрепления живительных сил, так сказать...

- Не желаете ли прогуляться? Вечерест, и на пахубе сейчас, вероятно, прохлада... Да и не стоит вам больше... Уж простите за прямоту, я так сказать, не в обиду - произнес очкарик, глядя на толстяка.

- Любим... Что думаешь, то и режь! А я не обижусь! Пойдем, согласен!

Они начали собираться, я выжидал; тут произошла не-

которая замкнула, потому что, когда они направились к двери, ни я, ни моя пассаж не тронулись с места.

- А вы?

- Если не возражаете, - обратился я к очкарику, - мы еще здесь побудем. Я боюсь, что наша дама замерзнет на палубе, а одной ей тут будет скучно. Так что, повторяю, если вы, конечно, не имеете ничего против, мы останемся.

- Ну, хорошо! - сказал он резко, втайне досадуя на нашу бестактность, - как хотите. Вот ключ, - если уйдете, повесьте его на гвоздь у двери.

- Прекрасно! - отвечал я медовым голосом, а женщина премило ему улыбнулась.

Итак, она ушла, и я запер дверь на замок. Блговидный глубоко и мерно дышал, распростершись ничком на полу, накрытый попоной с узором из мартовых веток; полутемный сон, реющий над тяжелой его головой, мешался со слабыми уже лучами заходящего солнца, создавал странное, лирическое векторных линий свечение - так светятся глыбушки на болоте.

И я подошел к ней, и взял за руку, и подвел к дивану, и познал ее, и мерное дыхание быка, и качание воли, и колыхающийся пульс крови в ее и моей груди, и мягкий запах, чуть подслащенный парфимерными специями, и она сказала: "Возлюбленный! Обнимемса и уснем!" И мы уснули, и спали долго, и я пробудился от тиканья часов на руке.

И вот за стеной заговорило радио:

- Друзья! Уже зажжены свечи святого Эльма и заработали небесные механизмы, разворачивая молниеносные волны, и все это для вас, для избранных, так сказать! Итак, приглашаем вас полюбоваться классической морской бурей!

Я поднялся с нашего ложа, она еще спала, и спал бик; оделся, глядя во тьму за окном, судно качало, оно стало слабо, но окончательно, как я понял, потрескивать; я подошел к ней и поцеловал в лоб; выйдя, я плотно притворил за собой дверь и тихо закрыл ее на ключ. Ни к чему вам участвовать в живодерне, которая сейчас поднимется! — подумал я, — это будет неэстетичное зрелище, я не хочу, чтобы вы унесли с собой на дно несколько некрасивых воспоминаний. Спите с миром, пока еще есть возможность!

На верхней палубе вдоль поручней стояла цепь пассажиров; зрители были взволнованы; прожектор, светивший во тьме, выхватывал нелепые куски темного в целом пространства; его плохо закрепили, и он метался с безумием, целенаправленной логике бури не поддавшись, вырывая из темноты черные и белые свины; ураган, смятение уже намечались — рокот все сильнее бушующих волн, халкий ропот толпы, пораженной пришедшей бедой, — об этом свидетельствовали.

Итак, качка все усиливалась; порывы ветра становились мощнее — отчаянно дернувшись, свалилась стремянка у капитанского мостика, кувыркнулась в воздухе, и упала за борт, увлекая за собой, — боже мой, — много очковосца, который, не ожидая нападения сзади, навалился животом на поручни и смотрел вдаль; падающая лестница так ловко поддела его, что он, подпрыгнув наподобие акробата, перевалился через борт и упал в темноту, издав слабый, покорный зов, поразивший меня своей интеллигентной интонацией.

В толпе вскрикнули, но большинству уже было не до того — волны стали захлестывать палубу, и я крепко вцепился в какой-то крик у рулевой рубки. Многие с отчаянным звуком блевали, лица были солони и блестящи от брызг и от слез —

две субстанции, почти однородные, там перемешались, и над всем господствовал ветер, нанося неисчислимые раны судку, срывая и выдувая все на своем пути. Невдалеке я заметил толстопузого, он что-то грозное рек, глядя на море, держась руками за прибортовый поручень; в другой руке его была бутылка, из которой он то и дело отхлебывал. Наконец, его мягко подцепило волною и унесло за борт; он покатился на вливающей его волне, как на диване, и лицо у него было дурацкое.

Потом, под мелькнувшим лучом прожектора я увидел рыжего оратора: он бежал, приготовив руки для иронии, словившись милодочкой, и когда борт занесся над волнами, он, описав красивую дугу, полетел в самую гущу морской пены. Видно, у корабля остановились двигатели, потому что нас стало бросать еще сильнее и безобразнее, и, когда подлетевшая волна ударила меня в подбородок и задрала голову, я увидел над собой бывшего подсудимого, вцепившегося в поручни в прежней, мною забытой позе; лицо его искажено злоба. И тут особенно сильный порыв ветра сорвал сверху прожектор, он упал, гера, и со звоном разбился о палубу; тонущий корабль погрузился во тьму, и что-то летело...

1970 г.